

# Заключительное слово

На этом я заканчиваю свое повествование. Возможно, точку нужно было поставить еще раньше – ибо уже Днестром обрезаются История и начинаются частные судьбы и события жизни людей, которые были когда-то вовлечены в исторический вихрь и, словно поднятые ветром песчинки, придали ему тяжесть и всепоглощающую силу. Потом ураган утих, и уцелевшие с удивлением обнаружили себя в разных местах Земли – частными лицами с повседневными и несвойственными им прежде заботами. Уходя в Румынию, Махно думал, что вернется назад, – и не смог. Не смог возвратиться в историю. Река Сугакля все так же текла из вечности в вечность, но это уже была не та река, что вчера. Жар крестьянской войны на Украине и в России дотлевал долго – и в 1922 и в 1923 годах еще чекисты отлавливали по селам и в днепровских плавнях недобитых бандитов, но это не имело уже, собственно, отношения к махновщине, которая сравнима, если использовать геологические аналогии, с грандиозным тектоническим сдвигом, с извержением вулкана.

Я не уверен, что когда-либо можно будет до конца понять смысл революционных событий, происшедших в России, тем более что на наше восприятие прошлого накладываются смысловые фильтры наших дней. Я надеюсь лишь, что эта книга поможет осознать читателю огромность случившегося. Это был грандиозный выброс неуправляемой энергии, копившейся десятилетия, сжатой, слепо ищущей выхода в недрах старого жизнеустройства царской России, которое из далека времени представляется подчас даже идиллическим. Не знаю, стоит ли в очередной раз судить об этом. Сейчас я хочу сосредоточиться и обозначить только одно: масштаб явления.

Можно взять карту и, развернув ее перед собой, попытаться обозреть охваченные махновским движением страны. Я говорю «страны», ибо здесь – Танаис, самый дальний край эллинистической цивилизации, от которой до нашего времени сохранились в Приазовье греческие села и, одновременно, край Русской земли, Дикое Поле; на днепровских порогах убит печенегами князь Святослав; здесь южный отрог Орды и северный удел турецкого султана – Крым, – и дикая ногайская степь, против которой все на тех же порогах Днепра встанет твердыня Запорожской Сечи; отсюда будут ходить на Турцию и Крым вольные казаки, окрестившиеся потомки которых развернут над головами черное знамя в битве за землю и волю; здесь – Таврия, гренадерские полки князя Потемкина, фаворита Екатерины II, новая колония Российской империи, куда, по указам императрицы, двинутся с тощих прибалтийских песков Пруссии и Мекленбурга на жирные степные черноземы немцы-колонисты, не подозревающие, что их потомкам уготована гибель в огне российской смуты; здесь – обманом уничтоженная казацкая вольность, губернское правление – первые оковы имперской власти, аракчеевские военные поселения и ключом бьющая жизнь селянства, Сорочинская ярмарка и Миргород Гоголя, Умань, где снами о былой славе жили потомки польских воевод; южнорусские степи под Курском и Орлом, тургеневский Бежин луг, краснокирпичные, железные города XIX столетия – Луганск и Юзовка, еврей-торговцы, азовские рыбаки, контрабандисты – все было здесь, на этой земле. Шестьсот километров с

севера на юг, столько же с запада на восток – вот территория, по которой три года гулял смерч махновщины. Сколько тысяч людей сгубили в этом вихре головы свои? Мы не знаем, ибо ни одна революция не ведет точный счет своим жертвам.

Одно чувство неуклонно овладевало мной во время работы – чувство невероятной боли и ужаса перед тем, что произошло. Ужас – перед тою огромной, непомерной энергией разрушения и зла войны, болезней, беженства, одичания, против которой бессилён один человек в кротком достоинстве своем, пред которой один – ничто, подножная слякоть. Боль – за то, что сделала революция с великой страной, что сделала она с людьми, погубив одних, а в души других заронив семена растления, предательства, страха и лжи, которые взошли не сразу, но все-таки взошли, когда Сталин потребовал, чтобы запущенный механизм ненависти отработал свое до конца.

После такого опоя кровью, как Гражданская война, – десятилетия бы длилось похмелье, прежде чем страна окончательно пришла бы в себя. А тут – новый разгул подлости, доноительства, потом коллективизация, репрессии, война – и новая репрессивная волна – и так далее, вплоть до мелкотравчатого вранья дней сегодняшних. Сердце сжимается: как же до сих пор мы живы? Да вот так и живы: ведь не только люди лучшие выбиты, но и чувства хорошие повытоптаны, дух народа отравлен какой-то заразой, унижен и ожесточен!

В 1930 году М. Пришвин записал в дневник сущую, по тем временам, крамолу: «Я, когда думаю теперь о кулаках, о титанической силе их жизненного гения, то Большевик представляется мне не больше, чем мой „Мишка“ (игрушка) с пружинкой сознания в голове... Все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор... мы живем в значительной степени. Все эти люди, достигая своего, не знали счета рабочим часам своего дня...» (64, 165).

«Кулаки» 1930 года – это либо дети тех, кто участвовал в последней крестьянской войне, либо непосредственно молодые ее участники.

Их «ликвидировали как класс».

Уничтожили интеллигенцию.

Уничтожили тех военачальников, которые стяжали большевикам победу. Уничтожили почти поголовно всех, кто обладал хоть каким-то достоинством, хоть какой-то индивидуальностью.

Во что это обошлось, мы начинаем понимать только теперь, хотя и не знаем еще, где конец распаду и разложению и во что, в результате, начавшееся в 1917-м встанет нам. И если для Есенина «страна негодяев» – любимая его Россия, увидевшаяся ему после Америки, была всего лишь минутным кошмаром и поэтической метафорой, то мы, возможно, вскоре окажемся гражданами этой страны. Если только давно не являемся ими.

Ужас не в том, что большевики победили. Ужас в том, что они превратили революцию из стихийного поиска правды в какую-то инквизицию, наплодив людей, необходимых для такого дела, промотав весь нравственный капитал, накопленный русскими

революционерами от Софьи Перовской и Веры Фигнер до Льва Мартова и Александра Богданова, бывшего члена большевистского ЦК, отступившегося от политики, от власти и погибшего в результате опыта по переливанию крови. Если под революцией подразумевать то, что, подобно Кропоткину, стал подразумевать в конце своей революционной карьеры Исаак Штейнберг (член ЦК левых эсеров) – чистый, свободный поступок, нравственное преобразование, то большевики поступки заменили ритуалом, а веру – ее имитацией.

К сожалению, закончив книгу, я убедился, что весьма мало приблизился к разгадке главной тайны революции – почему победили большевики. Только сплоченностью их, только жестокостью, только принципиальной беспринципностью это объяснить невозможно. Равно как и бесчисленными ошибками их врагов. Равно как и германскими миллионами.

Эта книга – о стихийном сопротивлении большевизму. Оно было неистовым. Оно было массовым. Но если бы мы увидели только эту сторону революции, получилась бы лживая картина. Была и массовая поддержка большевиков. Они действительно смогли подмять под себя, загипнотизировать большую часть городских рабочих. За ними пошла значительная часть интеллигенции. Более того – военные. Им удалось расколоть, расслоить по волоскам и поджечь даже такой непонятный, чуждый для них материал, как крестьянство. Как? Почему? Непонятно.

Есть несколько соображений на этот счет. Первое связано с мистикой тоталитарных режимов, с притягательностью тоталитаризма. Большевики пропустили страну через зверские испытания. На первое место обычно ставят террор. Но, наверно, вернее будет поставить на первое место голод. Разруху. Тиф. Общий результат: многолетний страх смерти. Ко всему этому большевики причастны непосредственно, но со временем все бедствия войвы стали восприниматься как стихийные силы, а большевики – как организующее начало, как избавители от голода и эпидемий, ужасов войны.

Вновь невольно вспоминается Великий Инквизитор Достоевского: «Кончится тем, что понесут свою свободу к ногам нашим и скажут: „Лучше поработите нас, но накормите нас...“ Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились быть свободными и над ними господствовать – так ужасно им станет под конец быть свободными!»

В словах Великого Инквизитора заключено пророчество несказанной глубины: правда о невыносимости свободы. О том, что для большинства людей она – непосильное бремя. Чтобы выносить его, нужна большая духовная сила. Махно пытался ставить на силу человека – и проиграл. А большевики ставили на слабость – выиграли. Здесь мы подходим к другой теме, гораздо более широкой, – теме общего кризиса современной культуры. Большевизм XX века – одно из самых ярких проявлений этого кризиса. Весьма показательны то, что, начавшись как движение за освобождение трудящихся, революционное движение в России в конце концов породило партию большевиков, которая установила один из самых удивительных по несвободе режимов и утвердила миропонимание, полностью противоположное мятежному, романтическому духу революционеров добольшевистской эры. Более того – она их физически истребила. В этом заключена какая-то мистика.

Удивительно, что «просвещенная» интеллигенция все-таки легче приняла большевизм, чем «темное» крестьянство. Впрочем, если поразмыслить, удивительного тут ничего нет: интеллигенция более всех других классов зависит от власти, крестьянство же наиболее независимо от нее. Поэтому оно дольше всего и сопротивлялось ей: дико, слепо, жестоко.

Интеллигенция тоже сопротивлялась. И в белом движении, и среди оставшихся в красном стане было немало людей, которые не замарали своей чести и, в общем-то, ни минуты не обманывались. Но если бы значительная часть интеллигенции не поддержала режим большевистской диктатуры, она бы не устояла, несмотря на всю свою свирепость. Поддержав большевиков, интеллигенция обрекла себя на уничтожение. В этом – тоже мистика.

Чтобы уместить все это в голове, понять все это, нужно, наверно, написать еще одну книгу – «Оправдание большевизма». Какая-то правда за большевиками была. По крайней мере, правда Великого Инквизитора.

Может показаться странным, что я ни слова не сказал о национальной специфике махновщины. Дело в том, что это в значительной мере надуманный вопрос, по крайней мере, в том смысле, в каком ставится он в наши дни, когда национальные чувства носят болезненно-обостренный характер и сериями лепятся национальные герои.

Никаких националистических или сепаратистских лозунгов махновщина никогда не выдвигала. Более того, она открыто противостояла всем трем режимам, которые в том или ином виде представляли независимую украинскую государственность: Центральной раде, правительству гетмана Скоропадского, петлюровской Директории. Она – вне национальной проблематики. Она не противостоит России. Она подчиняется макроритмам русской революции. В ней – не разность, а общность судеб России и Украины.

Махновщина вообще интернациональна. В Повстанческой армии было много евреев, много и русских. Были греки. Был отбившийся от красных эстонский военный оркестр. Были даже немцы, хотя (единственный национальный «пунктик») антинемецкие настроения были довольно сильны среди партизан. Сказались оккупация и неосознанная зависть крестьян по отношению к немцам-колонистам.

Теперь, когда мы проговорили все это, самое время сказать о национальной специфике махновского движения. Ибо она все-таки была. Она заключалась в невозможности для левобережного селянства, в жилах которого текла кровь запорожцев, принять чуждую для себя и жестокую власть, в невозможности примириться с ней. Любовь к вольности, неприятие бюрократической государственности – вот что так долго питало махновщину. В блокноте у Фрунзе есть любопытная запись о том, что в 1920 году в частях Южного фронта, воевавших на Украине, украинцев было всего 9 %. Фрунзе объясняет это несовершенством мобилизационного аппарата. Это объяснение удобное, но поверхностное. Потому что в 1919 году мобилизации были объявлены, но провалились. В то же время мобилизации Махно и в 1919-м, и в 1920-м проходили успешно, хотя Повстанческая армия всегда страдала от различного рода нехваток. Тут и есть «специфика»: революция на Украине началась с крестьянского восстания против оккупантов, началась как партизанская борьба,

предводителями в которой были крестьяне, считавшие себя анархистами, большевиков было мало. Большевики захотели эту стихию себе подчинить – у них ничего не вышло. На Украине почти вся энергия революции ушла сначала в повстанчество, а потом – в бандитизм. Бандитизм стал формой участия народа в Гражданской войне. Естественно, взвесить и учесть эту форму – невозможно. Поддавались учету только те 9 % мобилизованных, которые были уловлены большевиками. Остальные оказались частью среди петлюровцев, частью – у Махно. Вот такая национальная специфика. К слову сказать, когда в 1921 году от Фрунзе категорически потребовали покончить с Махно, ему было поручено сформировать для борьбы с ним украинские партизанские отряды, потому что к исходу Гражданской войны какое-то раздражение против русских, являвшихся то в виде белых, то в виде красных, у украинских крестьян все-таки возникло. И чтобы этого момента не усугублять, потребовалось создать национальные карательные формирования. Чтобы быть до конца честными, скажем, что создать украинские партизанские отряды Фрунзе удалось. Но не они сыграли в разгроме Махно решающую роль.

Нельзя не признать очевидного и более глубокого, тайного трагизма судьбы Махно. Очевидный трагизм лежит на поверхности: он хотел служить революции – ему не дали; он мечтал быть народным вождем, а в результате превратился в ужасающую фигуру действительно уже на любое злодеяние отчаявшегося бандита. Он много сделал для разгрома белых и ждал признания революционных заслуг своих, он тоже хотел ходить в усах, как Буденный, – а его запихали в разбойники, записали в злейшие, смертельные враги.

И он стал врагом. Беспощадным. Расчетливым. Смертельным.

Его развело с большевиками, по сути, нечто совсем эфемерное: чувство собственного достоинства. Он не хотел быть безропотным исполнителем чужой воли, не хотел быть козлом отпущения. Только поэтому он был обречен, как Эдип, – идти от одного страшного разочарования к другому. Время от времени он начинал надеяться, что ему удастся договориться с большевиками – так было зимой 1919 года, уже после объявленной ему летом анафемы, так было даже в 1920-м, хотя его дважды уже объявляли вне закона. Он не мог поверить, что махновщина и большевизм принципиально нестыкуемы, ибо первая, хоть и в упрощенном виде, представляет анархистский принцип спонтанной самоорганизации общества, а другой воплощает принципы тоталитаризма и, следовательно, беспрекословного подчинения масс – вождям, всех государственных структур – партии, а партии – идее. Одной. Он хотел служить революции, но не мог служить революции большевистской, как хотели, но не смогли его командиры, его войска. Они были слишком независимы, слишком свободны, они не могли вписаться в систему большевистской инквизиции, ибо были еретики. Сама махновщина – крестьянская ересь в революции, воспользовавшаяся для выражения своего кредо языком еретического же (во все времена и во всех ипостасях) учения – анархизма. Как всякая ересь, махновщина была обречена навлечь на себя гнев сильных мира сего. Но только как ересь она и интересна.

И не тремя книжками неоконченных мемуаров оправдан Махно перед историей. Он вошел в нее как еретик; его оправдание, его слово, его завет – в беспощадной и бескомпромиссной битве. С белыми. С красными. В непокорстве. В сопротивлении до конца, вопреки логике и здравому смыслу. Это дано не многим: противоречить, когда другие уже смирились,

драться, когда другие опасливо пригибаются, продираться к смертельной свободе безудержно и слепо, как рыба, идущая на нерест в верховья реки...

Если бы Махно в 1919 году влился – чего, собственно, и ждали от него – в ряды большевистской армии, то сегодня в глазах потомков он был бы одним из длинного ряда красных командиров, которые, будучи лично храбрыми и отважными людьми, стали, в лучшем случае, лишь добросовестными исполнителями чужой воли. Но он споткнулся в своем упрямом непокорстве – и вынужден был начать собственную борьбу. Которую проиграл.

Или выиграл?

Судить трудно – но, во всяком случае, имя его не вписано в общий унылый список. Оно стоит особняком. Оно будоражит умы. Вероятно, Махно был совсем другим, нежели мы думаем о нем, нагружая его образ своими смыслами. В некотором смысле слова, любой исторический герой – это литературный персонаж. Махно это касается в огромной степени. И возможно, все было не так, как здесь рассказано. И вполне может статься, что гениальный партизан, «комбриг батько-Махно» на самом деле прожил не свою жизнь, по молодости и по глупости подхватив ношу, которую бросило ему время, и что на самом деле был он мирным селянином, тихим вечером возвращающимся домой с ярмарки...

Здесь – возможная тайная трагедия Махно.

Он мечтал вернуться на родину, но не мог – по злой иронии судьбы имя его было включено в список самых злейших врагов Советской власти вместе с именами гетмана Скоропадского, Петлюры, генералов Врангеля и Кутепова (называю лишь тех, с кем ему приходилось непосредственно бороться). Он вовеки не подлежал амнистии.

Девять лет Махно просидел в тюрьме за юношеский террористический акт. Четыре года вел войну. Тринадцать лет влачил скучную жизнь эмигранта. Смысл всей его жизни придавала война, вернее последние два ее года, когда он бился один против всех – и стяжал в этой битве железную стойкость несмирившегося бойца. Может быть, потом он даже сожалел об этом. Но такие награды невозможно отдать назад.

И перед потомками он оправдан своей бескомпромиссной битвой, своей драгоценной стойкостью. В Париже бывший командир Повстанческой армии в нищете и забвении дал свой последний бой, спасая себя, своих товарищей и идею народной свободы от лжи и грязных наветов. Через два года после смерти Махно черное знамя анархии подхватили анархисты Испании. И хотя это была все та же история – история борьбы человека за свою свободу, – Махно уже не имел к ней отношения. Или имел? Чьими именами вдохновлялись испанские повстанцы? И почему латиноамериканские *guerrilleros* до сих пор воздают хвалу Нестору Махно на стенах кладбища Пер-Лашез?

Анархизм, оказавшись в центре внимания этой книги, ставит нас перед проблемой свободы. По крайней мере, в том виде, в котором она существовала в первой трети прошлого века. Может показаться, что битва за свободу проиграна. Найдется предостаточно аргументов в пользу того, что мы движемся к полностью несвободному обществу, где тотальное

управление людьми будет осуществляться с помощью денег, внушенных страхов и смыслов, навязанных рекламой и пропагандой.

И тем не менее проблема свободы возникает вновь.

Она возникает, несмотря ни на что.

И это оставляет нам надежду. Сейчас я говорю уже не об анархической свободе и вообще не о политической свободе, а о свободе, как о величайшей загадке, стоящей и перед каждым из нас в отдельности и перед всем человечеством. Окажется ли каждый из нас способен так сражаться за свою свободу, как сражался когда-то Махно? Хотелось бы верить.

По-моему, символично, что в кружках «анархистов-мистиков», действовавших в 1920-е годы при музее П. А. Кропоткина в Москве (а в 1930-е – подпольно, в связи с арестом руководителей), был молодой анархист из Гуляй-Поля, учитель Игорь Брешков.

Каким-то образом батькина «воля» отозвалась в душе его односельчанина поисками духовной свободы. Руководители кружков А. А. Солоневич и Н. И. Преферансов считали, что революция бессмысленна без духовного преображения человека. «Мистики» были связаны с древней эзотерической традицией мистических орденов Европы, изучали восточную мудрость, вопросы искусства... Против них ополчились анархисты-практики, в том числе и аршиновское «Дело труда». Но вдова Кропоткина, Софья Григорьевна, и старая народоволка Вера Фигнер признали в них продолжателей дела князя-бунтовщика. Они понимали, что дело отнюдь не в «мистицизме». Вера Николаевна Фигнер просидела в Шлиссельбурге двадцать лет и знала, о чем идет речь: дух ищет свободы. А она знала, что такое свобода после двадцати лет заточения! После двадцати лет окружающего ее отчаяния, попыток самоубийства, самосожжений, сумасшествий – она знала, что в конечном счете важным является только одно: свобода внутренняя, над которой не властны даже стены тюрьмы, – а не то, кем человек числит себя и с какою яростью клеймит противников... Она понимала, как понимали и руководители кружка, что большинство его участников при существующем режиме обречены. Об этом предупреждали всех вступающих. Она понимала, что ее, как реликт русской революции, не посмеют тронуть, и до поры прикрывала своим авторитетом крохотный островок свободомыслия... Она понимала также и то, что многие молодые люди, собирающиеся в помещении кропоткинского музея, не выдержат удара власти. Кто-то погибнет. Кто-то совершит предательство. Но кто-то достигнет успокоения человека, приговоренного к свободе. У свободы нет других путей от рождества Христова.

И есть высшая свобода – чистота сердца и мир его. И есть семь господств гнева: тьма, вожделение, лукавство плоти, яростная мудрость... И последняя всего опаснее, ибо сказано:

Мир вам! Мир мой, Приобретайте его себе! Берегитесь, как бы Кто-нибудь не ввел вас в заблуждение, говоря: «Вот сюда!» или «Вот туда!» Ибо Сын человека внутри вас. Следуйте за ним! Кто ищет его, найдут его... (20, 325). Читателю может показаться, что мы отошли слишком далеко от темы: Махно и мистический анархизм как будто никак не связаны. Сам он понять нового «интеллигентного» течения, конечно, не мог бы и, вероятно, испытал бы смутную враждебность к его приверженцам. Но существует Игорь Брешков, 1913 года

рождения, которого детские воспоминания о черных знаменах махновщины привели на конспиративные квартиры последних анархистов в Москве. Он не был близок руководителям кружка и не входил в круг посвященных; легенды, которые многовековая традиция мистических орденов требовала передавать только изустно, – не были поведаны ему. Но вольнослушателю кружка Брешкову все же вменялось в вину слушание «стихов анархического содержания» поэта М. Волошина – значит, стихи, по крайней мере, он слышал? И, следовательно, живым, неоскверненным воздухом дышал?

Значит, дышал.

Нет, Брешков не повинен в том, что он остался всего лишь начинающим учеником свободы. В первый раз он был арестован в 1932 году, вторично – в 1936-м. На следствии давал сдержанные показания, но, в общем, держался неплохо. Отсидел свой срок. Работал по реабилитации библиотекарем. Сын его не зарядился от отца энергией бунта против закабаленное™, которая одних толкает на мятеж, а других – на великое подвижничество. В нем, следовательно, магнетизм махновщины иссяк. Но он обнаруживается вдруг в других людях, вступивших на тропы свободы, ибо бунт против несправедливости – первая и необходимая ступень в борьбе за нее.

Мне не хотелось бы делать никаких окончательных выводов. Революция – слишком страшная драма, чтобы успокоиться наклеиванием ярлыков на ее участников. Россия страшно наказана за вступление в «господство гнева» и попустительство «яростной мудрости». Гнев стал ее болезнью, гневом она разрушает и подтачивает себя. Если она не преодолеет внутреннего озлобления, она погибнет. Для этого нужна и переоценка прошлого. Я просил бы моих дорогих читателей, дошедших до конца этой книги, отыскать еще замечательные очерки Сент-Экзюпери, посвященные гражданской войне в Испании, которая в 1936-м, как Россия в 1917-м, жаждала преображения:

«Сами того не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей... Мы идем на войну друг против друга по направлению одной и той же земли обетованной... Мы идем к грозовому Синаю...» (88, 40-44).

Очень хочется верить, что это действительно так, и грозовой Синай – новый смысл, который был бы выше всех частных, разделяющих человечество смыслов, – в конце концов после мучительных поисков будет все-таки найден нами.

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 апреля 2025 11:23:23

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 2 апреля 2025 11:23:43